

УДК 1(091)

[М. О. Гершензон, П. Б. Струве]

**П. С[ТРУВЕ]. НЕ В ОЧЕРЕДЬ.
N. N. [М. О. ГЕРШЕНЗОН]. ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ
С ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА И ОТВЕТ НА НЕГО
РЕДАКТОРА [П. Б. СТРУВЕ]**



Ссылка для цитирования: [Гершензон М. О., Струве П. Б.] П. С[труве]. Не в очередь. N. N. [М. О. Гершензон]. Письмо к редактору с Женевского озера и ответ на него редактора [П. Б. Струве] / републикация М. А. Колерова // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2021. Т. 4, № 2. С. 182–202.



DOI: 10.17323/2658-5413-2021-4-2-182-202

Редактор «Освобождения» вскоре после основания этого издания получил нижеследующее письмо:

Многоуважаемый Петр Бернгардович!

В передовой статье Вашей, напечатанной в первом номере Вашего журнала, Вы приглашали друзей «Освобождения» к деятельному сотрудничеству и полагали свою задачу единственно в том, чтобы предавать тиснению идущее из России свободное слово. Это Ваше приглашение служит мне порукою, что Вы не откажетесь дать и мне — одному из друзей «Освобождения» — возможность высказать на страницах Вашего журнала мое тоже свободное слово.

Я называю себя другом Вашего журнала, потому что глубоко сочувствую Вашему стремлению приблизить минуту политического освобождения России и потому что, подобно Вам, не вижу иного пути к этой свободе, кроме низвержения абсолютизма с его церковным и светским чиновничеством. Я также разделяю Вашу уверенность в том, что развязка близка. Противоестественно заглушать человеческую речь и карать ссылкой и смертью за мнения; противоестественно закрывать людям доступ к знанию; противоестественно миллионы тружеников обрекать голодной смерти; противоестественно грубой и

Републикация осуществлена по изданию: П. С[труве]. Не в очередь. N. N. [М. О. Гершензон]. Письмо к редактору с Женевского озера и ответ на него редактора [П. Б. Струве] // Освобождение. Книга первая. [Stuttgart, 1903.] С. 225–239. Поясняющий текст в квадратных скобках принадлежит М. А. Колерову.

полной произвола централизацией душить сложную жизнь громадного государства и более, чем противоестественно — до исступления дико — делать это все ради материальной выгоды одного или нескольких человек. История знает другой пример такого противоестественного (и потому бесплодного!) закрепощения целого народа: последние годы Западной Римской империи. Но там правительство могло оправдываться необходимостью отстоять государство против напиравших со всех сторон варваров. Россия закрепощена с цинизмом, невиданным в истории, без всякой тени хотя бы субъективного оправдания; ее держит под усиленной охраной: номинально — царская власть, фактически — адское сочетание алчности и страха. Здесь нет идеи, нет убеждений: только жажда материальных благ (власти и тысячных окладов или просто куска хлеба для семьи) привязывает русское чиновничество, от министра до последнего хожалого, к колеснице самодержавия и заставляет его влачить эту колесницу по трупам. Это противоестественно, и потому это не может долго продолжаться. Я думаю вместе с Вами, что всякий разумный и чувствующий человек обязан содействовать устранению этого противоестественного и бесчеловечного порядка вещей. Но, в отличие от Вас, я думаю, что это — лишь часть задачи, подлежащей всякому разумному человеку, и притом меньшая.

Я решился писать Вам потому, что и Вы, открывая новый журнал, обошли полным молчанием важнейшую часть этой задачи и, по-видимому, вовсе не думаете касаться ее. Удивляться нечему: Вы следуете в этом отношении примеру всей нашей оппозиционной печати, которая вот уже полвека старается мобилизовать все нравственные силы русской интеллигенции исключительно против господствующей у нас политической власти. Тенденция эта глубоко прискорбна, потому что она искажает нравственную перспективу, ослепляя глаза ярким блеском политического вопроса и тем заставляя их не видеть всего остального зла нашей жизни, которое неизмеримо больше, нежели зло самодержавной власти. Люди любят опьянять себя, а политикой можно опьянить себя не хуже, чем вином и картами.

Вопросы политики, вопросы о государственной власти, о правильном устройении общественной жизни суть, конечно, вопросы нравственного порядка; но дурно и пагубно, когда они отделяются от своей законной почвы, когда обособляются в нечто специфическое и самодовлеющее. Это именно произошло у нас: в мировоззрении лучшей части русского общества политика (вопрос о борьбе с самодержавием) отшнуровалась от нравственности, как у низших органических существ созревшее дочернее тело отшнуровывается от материнского. А, отделившись, она пошла жить и развиваться по своим особым законам, не всегда совпадающим с законами нравственности, а, главное, закрыла

собой от взоров общества свой источник — стремление жить по правде. Это обособление политики совершилось у нас недавно, почти на наших глазах; оно было совершенно чуждо не только борцам против крепостного права, но еще и людям, «ходившим в народ».

Явление это кажется мне печальным по трем причинам, из которых две я сейчас назвал. Во-первых, такая специфическая политика, забыв своё происхождение, сплошь и рядом вовлекает своих ратников в поступки, которых они никогда не совершили бы, если бы руководились не «политической» целью, а простым человеческим стремлением жить по совести и разуму. Во-вторых, не проверяемая ежеминутно этим простым мерилom, она неизбежно должна исказиться в самом существе и дать плод, который, с точки зрения правды, придется сурово осудить. Наконец, в-третьих, она дает общественному мнению и мировоззрению отдельных лиц одностороннее направление, сводя для них всю нравственность к той части ее, которая лежит в основании политики, и заставляя их игнорировать остальное. Из этих трех опасностей последняя кажется мне наибольшей, и на нее преимущественно я хотел бы указать.

Нет никакого сомнения, что желание устроить нашу жизнь так, как велят нам совесть и здравый смысл, встречает в России крупные препятствия со стороны государственной власти, и поэтому последняя должна быть изменена. Но неужели Вы думаете, что эта власть узурпировала и может узурпировать всю область нравственности? Неужели Вы не знаете, что во все времена главная доля нравственных задач лежала вне сферы действия государственной власти? вспомните, при каких условиях пришел в мир Христос: его родина была обесчещена и тяжело угнетаема чужеземцами, над нею тяготел невыносимый политический гнет. Что же? Пошел ли он по стопам Маккавеев? Обратил ли он свою великую духовную силу, свою магическую власть над массой на политическое освобождение Иудеи? Или, подобно Анахарсису Клоцу, он призвал весь мир на борьбу против тиранов? Нет: Христос, которому Вы, конечно, не откажете в уме, всеобъемлющем и пронизательном, почти свыше человеческого уровня, — Христос совершенно игнорирует вопрос власти и равнодушно говорит: отдайте кесарю кесарево.

Вы знаете это, конечно, не хуже меня; я уверен также, что и Вами руководит единственно стремление приблизить жизнь к идеалу правды, — и потому во мне невольно рождается вопрос: неужели Вы думаете, что та неизмеримо большая часть правды, которая лежит вне сферы политической власти, у нас, в России, уже осуществлена? Думаете ли Вы, что наша интеллигенция, к которой Вы обращаетесь с политическим призывом, прошла уже весь открытый путь правды, дошла до шлагбаума власти и теперь должна направить все силы на

устранение этого шлагбаума, чтобы пойти дальше? А если нет (Вы не можете так думать), почему же Вы придаете такое первостепенное значение борьбе против политической власти, забывая об остальном? Не кажется ли Вам, что в последние десятилетия русское образованное общество стало похоже на человека, утратившего чувство перспективы? Случилось то, что наша политическая нравственность доведена до величайшей чуткости, а вся остальная обширная правда едва прозябает. И получается такая странная картина: в то время, как всякий порядочный человек в России с презрением отворачивается от ретрограда, Вы, я, мы все, дружески жмем руку просвещенному земцу, т. е. помещику, т. е. человеку, который берет с мужика столько-то рублей за наем десятины или, платя ему целковый за день, наживает на нем два, — другими словами, грабит его так же точно без всякого оправдания, как и царская казна. Я, по крайней мере, не слыхал, чтобы такие тяжкие преступления против законов совести и здравого смысла, каково, например, частное землевладение, неизбежно связанное с эксплуатацией людей, клеймились у нас хоть в малой степени столь же сурово, как любой политический проступок. Между тем, на мой взгляд — полагаю, что и на Ваш, — просвещенный, т. е. знающий правду, но продолжающий поступать по кривде помещик стоит нравственно ниже самого Грингмута. Об этом забыли из-за политики; и Вы сами в первых номерах Вашего журнала напечатали несколько коллективных заявлений таких именно людей и сопровождали эти заявления словами горячего сочувствия. Все прощается, мало того — просто не замечается, лишь бы в порядке были политический образ мысли человека и его политическое поведение; вражда к самодержавию — как бы галстук, без которого нельзя показаться в обществе, и у нас позволяют человеку разгуливать в нижнем белье, раз этот галстук в исправности.

Такой неправды, пример которой я сейчас привел, полна жизнь нашего общества. Переберите всю нашу интеллигенцию, исключая учащейся молодежи, живущей на средства родителей: много ли Вы найдете среди нее людей, которые добывали бы деньги, нужные на жизнь, личным трудом, притом таким, который они сами могли бы оправдать с точки зрения совести? Помещик, без труда отнимающий у крестьянина добрую часть урожая; адвокат, за деньги защищающий неправду, что хуже того, правду; инженер, вооружающий наукою безрукий капитал для наиболее выгодного использования рабской силы; учитель гимназии, обучающий по казенной программе и хорошо сознающий ложь и вред своего преподавания, профессор и газетный сотрудник, — могут ли они по совести оправдать свой заработок? Или возьмем другое. Никто не будет отрицать, что мы, т. е. вся интеллигенция, занимаем в народе совершенно исклю-

чительное положение в смысле материальной стороны жизни: мы свободны от всего необходимого для существования физического труда, который несут за нас крестьянин, фабричный рабочий и служанка. Как это сделалось — другой вопрос; факт тот, что мы, кучка, пользуемся огромной привилегией перед этой сотней миллионов людей, привилегией, с которою, по размерам и по бесчеловечности, не может идти в сравнение никакая другая из существующих у нас. Если бы эта привилегия была установлена и охранялась правительством, то — не правда ли — наша свободная печать избрала бы ее главной своей мишенью; она должна была бы отодвинуть все прочие свои требования на второй план, поставив на первый уничтожение этого вопиющего неравенства, этого нового рабства. Но посмотрите: привилегия эта не охраняется правительством; полиция не запретит мне сколотить себе стол или вскопать огород, а моей жене — сварить обед и выстирать белье. И тем не менее мы преспокойно, даже вовсе не думая, пользуемся этой вопиющей привилегией, от которой никто не мешает нам отказаться, и вместо того, чтобы, насколько в наших силах, перестать делать эту неправду, т. е. пойти прямой дорогой, спешим к благу народному далеким закоулком политики. В результате — ложь, целое море лжи и почти наивного лицемерия. Политика Сипягина по отношению к голодающим вызвала в обществе и особенно среди земских деятелей бурю негодования; но слышали ли Вы, чтобы после этих ужасных голодных годов хоть один земец отдал свою землю (или даже часть ее) крестьянам, хоть один из тех, которые скорбели, негодовали и устраивали (на отнятые у народа деньги) столовые? Слышали ли Вы, чтобы хоть один народолюбивый интеллигент, из которых три четверти тем или другим способом живут на народные деньги, почувствовал горечь во рту от этого хлеба и пошел кормиться праведным трудом? Вспомните о нашей домашней прислуге. Это ли не позор? Рабство пышным цветом цветет среди нас (как, впрочем, и во всем «цивилизованном» мире) в худшей своей форме — в дворовой; за 7–8 рублей мы покупаем человека, заставляем его работать для нас наиболее грязную работу и, держа его под своею кровлею, стараемся как можно более огородить себя от общения с ним, для чего отводим ему особую конуру. Человек, благоговеющий пред памятью борцов за освобождение крестьян и держащий, как водится, служанку, будет несказанно удивлен, когда Вы скажете ему, что он и сам — рабовладелец. Я уверен, что лет через сто люди будут вспоминать положение нашей домашней прислуги с таким же ужасом и отвращением, с какими мы вспоминаем крепостное право; а современный интеллигент просто даже не замечает, что башмаки, которые он надевает утром, вычищены рабскими руками, что рабскими руками вымыто его белье, приготовлены его обед, постель и лампа.

Как это стало возможно? Как человек, свято блюдуший одну, малую долю нравственности — политическую, — или, по крайней мере, стыдящийся, если не может ее соблюсти, — с легким сердцем и открытым лицом попирает цельную, бóльшую, просто человеческую нравственность? И почему общественное мнение, столь чуткое там, здесь так снисходительно? И почему голос Л. Н. Толстого, двадцать лет зовущего нас каждого в отдельности оглянуться на свою жизнь и очистить ее, остается одиноким и бессильным? Здесь не место разбирать причины этого явления. Полагаю, что они двоякого рода: общечеловеческие и специально-русские; и среди последних не последнее место, по моему убеждению, занимает то исключительно политическое направление, которое усвоило себе за последние десятилетия наша либеральная и революционная печать. Лучшая часть русского общества опьянена политикой и не видит болота, в котором живет.

Легче решиться выстрелить в министра, обрекая себя на верную смерть, чем решиться всю жизнь обходиться без прислуги; легче выкинуть на улице красное знамя, наверняка рискуя Сибирью, чем зная, что должность, за которую тебе платят, несправедлива, отказаться от нее и тем оставить семью на время без хлеба. Мне кажется, что долг печати — не только не ослеплять людей политикой, но, напротив, направить свои усилия туда, где еще без движения лежат и важнейшие, и труднейшие нравственные проблемы, — иными словами: призывать людей к осуществлению правды, уже признанной ими, и разъяснять им те стороны правды, которых тот или другой еще не знает. В отношении же к политическому вопросу ее долг — не культивировать специфическую, обособленную, самодовлеющую политику, а отвести ей ее законное место в сфере нравственности, вернуть ее к ее истинному источнику — к стремлению людей жить по разуму и совести. От этого политика только выиграет, и не только нравственно, но и практически. Вы обращаетесь ко всему обществу и призываете его действовать скопом: действительно, люди должны, где можно, добывать правду совместными усилиями. Но в Ваших же интересах обращаться и к каждому в отдельности: ведь вопросы политики — прежде всего вопросы личной совести. Подумайте, что ждет Россию после ожидаемого переворота. Наше общество уже настолько либерально и демократично, что нет основания опасаться воцарения олигархии: власть будет сделана, конечно, достоянием всего народа. Но как сложится дело фактически? Мыслимо ли у нас фактическое равенство всех слоев населения во власти? Нет, когда все станут номинально равными, тогда на деле власть достанется тем, кто лучше вооружен: капитал и особенно знание (в гораздо меньшей степени талант) — вот те две силы, которые теперь сдерживает царская власть и которые тогда с роковой

неизбежностью возьмут перевес над нищим и, главное, невежественным народом. Законодателем на деле станет интеллигенция, притом не бескорыстные, полные идеализма юноши 20 лет, а те же профессора, учителя, адвокаты, врачи и — прежде всего — земцы. Ведь Вам, как мне, уничтожение самодержавия нужно не только для восстановления Вашей и моей свободы говорить и действовать, но более всего — ради «великого дела облегчения участи трудящихся и угнетаемых» (как писал Балмашев в письме к родителям). А если так, *то выгодно ли нам отдавать власть земцу*, который есть землевладелец, т. е. который пашет землю не своими, а мужицкими руками? Следует ли делать собаку мясником и кошку молочницей? И если бы печать начала с этого конца, то я верю — Россия была бы теперь ближе к истинной свободе, чем она есть. Теперь, после того, как русская печать полвека проповедует вражду к политическому произволу, она достигла того, что все наше образованное общество с негодованием встречает акты этого произвола. Если бы она с таким же упорством и такую же страстностью полвека призывала людей жить по совести, то, может быть, сегодня порядочному было бы так же стыдно быть фабрикантом или помещиком, как ему стыдно быть агентом полиции. Поймите меня хорошо: я далек от мысли отвергать политическую агитацию, т. е. попытки целых групп совокупными усилиями помогать торжеству правды, и, предсказывая печальное будущее, я вовсе не хочу сказать, что самодержавие лучше и что его надо сохранить, — конечно, нет: я только говорю, что одновременно с «политической» работой необходимо будить совесть и что эта работа важнее той. Толстой сказал: «Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть». Когда Вы обращаете Вашу речь к русскому обществу, Вы обращаетесь ведь к отдельным людям: зовите же их, как отдельных людей, на подвиг добра, говорите им, что им должно каждому самому одному жить по совести. И поверьте: когда люди вступят на этот путь они сами увидят, где им удобнее соединиться скопом для служения правде, и не преминут сделать это. Революционируйте сознание отдельных людей: это кратчайший путь к общественным революциям, истинным, а не только внешним.

N. N. [М. О. Гершензон]

Как последовательный либерал, я решил, что напечатаю Ваше письмо в книжках «Освобождения», но, должен сказать откровенно, оно меня очень огорчило. От него на меня пахнуло старой и, как мне думалось, окончательно уже преодоленной путаницей идей, так долго господствовавшей в широких кругах общества. От этой путаницы я чувствую почти физическую боль, так же, хотя, конечно, не такую же, как от проповеди хищного национализма, юдофоб-

ства и прочего насильничества. И в самом деле, Ваши рассуждения — какой-то безнадежно запутавшийся клубок, распутать который страшно трудно, над которым нужно биться и биться — так в нем все скручено и перекручено: не знаешь, где тот кончик, ухватившись за который можно было бы превратить неблагообразие ни к чему не годного клубка в свободную нитку, которая может пойти на всякую потребу и, главное, вывести нас туда, куда следует.

Позвольте сказать Вам притчу. Наступила весна, земледелец выехал пахать. И вот к нему является мудрый, премудрый агроном и говорит: «Брось, братец, пахать; твоя земля не возделана и не удобрена, как следует. Разрыхли ее американскими орудиями, утучни искусственными туками». Земледелец послушался и бросил пахать. Жатвы он в этом году не получил, но хуже того — за внушение агронома-мудреца он заплатил всей своей землей, которая пошла с торгов.

В таком положении окажется «Освобождение», если оно послушается Ваших советов и будет учить «жить по правде». Его полоса будет не вспахана и оно само останется и других оставит без хлеба.

Вы призываете жить по правде и вторите проповеди Льва Толстого. Эту проповедь я слышал с юности своей и давно она заключена в сердце моем. Но я не мог никогда сделаться толстовцем, потому что для меня всегда было ясно, что пути к правде гораздо сложнее, чем это представляется Толстому и Вам. В одном месте письма Вы говорите: «Ведь Вам, как и мне, уничтожение самодержавия нужно не только для восстановления Вашей и моей свободы говорить и действовать, но более всего ради “великого дела облегчения участи трудящихся и угнетаемых”». В другом месте, через несколько строк, Вы вдохновляетесь проникнутыми совершенно другим, индивидуалистическим, настроением словами Толстого: «Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть». Я не знаю, как примиряются Ваш социальный альтруизм и Ваш моральный индивидуализм. Но для меня не существует никакого противоположения между моей жаждой свободы и интересами огромной массы трудящихся и угнетаемых.

Свобода нужна и интеллигенции, и не менее того народу. Нужна не только для внешнего благополучия, но и для достойного человеческого существования. Я — социалист; но я не разделяю мнения Толстого, что только индивидуальной проповедью и индивидуальным деянием можно изменить существующий несправедливый общественный строй. Я социалист, но я не разделяю мнения марксистов и всех других революционных социалистов, что пролетариату достаточно физически одолеть буржуазию, захватить власть для того, чтобы «учредить» социализм. «Учредить» прочно социализм можно только в

умах, и для этого нужно *перевоспитание общества*. В таком перевоспитании известную роль может сыграть индивидуальная проповедь (революционизирование сознания отдельных людей) и индивидуальное деяние (пример), но ещё большую роль могут и должны сыграть учреждения и установления, упорная работа над ними и в них.

Но если учреждения важная вещь, то именно потому, что самые глубокие, наиболее врезающиеся в жизнь людей учреждения не могут быть просто «учреждаемы», т. е. предписываемы и насаждаемы. Недостаточно захватить и держать власть: никакие учреждения *à la longue* не могут опираться на голое насилие — и потому одною властью можно очень мало сделать: о решительное активное, а, главное, пассивное сопротивление меньшинства разобьётся всякий социализм, который не будет прочно учреждён в общественном мнении, в умах людей. Ваш учитель Толстой очень хорошо оценил огромное значение общественного мнения. Те места в сочинении «Царство Божие внутри вас», которые трактуют об общественном мнении и его власти, представляют, как я покажу ещё ниже, лучшее опровержение или, вернее, ограничение толстовской теории о преодолении существующего общественного и государственного зла индивидуальным отказом подчиняться ему. Точно так же, как социально-политический радикализм, классический образец которого явило якобинство, всегда впадает в преувеличенную оценку государственных велений и мероприятий, так этический идеализм Толстого безмерно преувеличивает значение индивидуального отрицания общественного и государственного строя. Отсюда, с одной стороны, у проникнутых якобинизмом научных социалистов совершенно ненаучное суеверное превращение проблемы социализма в готовый, не подлежащий оспариванию и пересмотру ответ, точно социализм есть квадратное уравнение, для решения которого совсем не требуется никакого творчества, а достаточно, захватив власть и установив «диктатуру», применить формулу «программы». Отсюда, с другой стороны, у анархистов, вроде Толстого, чисто детская вера в творческую и влекущую силу радикального индивидуального решения.

Одни не понимают, что формы общественной жизни не могут быть «решены», как уравнения, и не могут быть «приказаны» людям никакой диктатурой, — другие слепы к тому, быть может, печальному, но несомненному факту, что человечество тяжело на подъём, что оно очень мало пластично, а потому его и из него не так легко лепить. Одни слишком верят во власть, другие в проповедь. И потому такие реформаторы, начертывая новые пути человечеству, часто попадают в положение проводника, который, указывая нам дорогу, так далеко ушёл вперёд, что вы его перестали видеть, и голос его не доносится

больше до вас. Легко, конечно, все такие критические мысли назвать постепенщиной и осудить с точки зрения политического или нравственного идеала. Но поймите же, наконец, что есть предел, за которым радикализм теряет смысл или, по крайней мере, теряет возможность, а потому и право — руководить жизнью. Ибо, повторяю: проводника нужно видеть и слышать — и, потеряв его из виду, потеряешь и путь.

Критическая ясность в вопросе о «постепенщине» или оппортунизме есть нечто самое нужное в настоящее время для теоретического сознания передовой русской интеллигенции. Между тем, этот жгучий вопрос, требующий от мысли честности и дерзновения, глубины и гибкости, редко подвергается безбоязненному и в то же время вдумчивому обсуждению. Давно пора начать такое обсуждение. В этом вопросе до сих пор слышится только либо голос страсти, либо фразы — плачевные порождения духовной рутинности. Смелая мысль, не боящаяся подвергаться сомнению и пересмотру ходячие определения, критиковать безмыслие и косномыслие, скрывающиеся за широко распространенными взглядами, почти не начинала ещё своей работы.

Эта, казалось бы, отвлеченная тема имеет самый животрепещущий интерес. В самом деле, всякое практическое и потому всякое политическое поведение не может находиться в зависимости только от инстинкта или порыва — оно должно опираться на строгую критическую мысль, все ставящую под перекрестный огонь сомнений. В начале XX века мы не можем быть наивны и не можем быть догматичны. Мы не можем и не должны терпеть «нас возвышающего обмана». Критикуя радикализм как Толстого, так и революционеров, я делаю это не потому, чтоб мои требования от действительности не включали радикальных и широких задач, тождественных по своему содержанию с задачами самых решительных общественных реформаторов. Наоборот, я стою вовсе не за умеренность конечных целей и не с точки зрения таковой считаю нужным оправдывать «постепенщину» и оппортунизм. Мой оппортунизм есть исключительно оппортунизм средств, не только не исключаящий радикализм целей, а, наоборот, в нём имеющий свое оправдание и санкцию. Я уже указал на то, что общественно-политический радикализм средств выступает в истории идей и стремлений в двух типических формах. Одну из них можно назвать *радикализмом этическим*. Теоретическая сущность этого радикализма, самым законченным выразителем которого в наше время является Лев Толстой, сводится к следующему. Есть один способ совершенствования общества; этот способ нужно познать и путем настойчивого индивидуального применения стремиться создать из него общественную норму, действующую помимо всякого принуждения, в силу добровольного признания. Это — путь

индивидуального деяния, которое всякую борьбу против существующего облекает в форму пассивного сопротивления или, что то же, — сопротивления злу неучастием в нем. Я так определяю толстовский метод, потому что, на мой взгляд, для Толстого характерно не «непротивление», о котором он говорит, а сопротивление, не примирение или подчинение, а борьба или восстание. Выставив этот преобразовательный метод, как единственный могущий приводить к цели, Толстой, как известно, пришел к отрицанию государства во всех его формах. Под государством он понимает принудительную власть общества или его представителя, правительства, над личностью. Но, нарисовав такой путь преобразования жизни, Толстой, как я уже указал выше, делает оговорку, упраздняющую абсолютный характер этого пути. Переход людей от одного понимания жизни к другому совершается

...не одним только этим внутренним способом, а ещё и другим внешним способом, при котором уничтожается постепенность этого перехода.

Переход людей от одного устройства жизни к другому совершается не постоянно — так, как пересыпается песок в песочных часах: песчинка за песчинкой, от первой до последней, а скорее так, как вода вливается в опущенный в воду сосуд, который сначала медленно и равномерно впускает в себя воду, а потом от тяжести уже влившейся в него воды вдруг быстро погружается и почти сразу принимает в себя всю ту воду, которую он может вместить. То же происходит и с обществами людей при переходе от одного понимания, а потому и устройства жизни, к другому. Люди только сначала постепенно и равномерно, один из другим, воспринимают новую истину внутренним путём и следуют ей в жизни; при известном же распространении истины она усваивается ими уже не внутренним способом, не равномерно, а сразу, почти невольно¹.

И потому перемена в жизни человечества, та, вследствие которой люди, пользующиеся властью, откажутся от нее, и из людей, покоряющихся власти, не найдется более людей, желающих захватить ее, наступит не тогда только, когда все люди один по одному до последнего усвоят сознательно христианское жизнепонимание, а тогда, когда возникнет такое определённое и всем понятное христианское общественное мнение, которое покорит себе всю ту инертную массу, неспособную внутренним путем усвоить истины и по этому самому всегда подлежащую воздействию общественного мнения. Общественное же мнение не нуждается для своего возникновения и распространения в сотнях и

¹ См. «Царство Божие внутри вас», стр. 92–93. [Здесь и далее примеч. П. Б. Струве]

тысячах лет и имеет свойство заразительно действовать на людей и с большою быстротою охватывать большие количества людей².

Решителем всего, основною силою, двигающею людьми и народами, была и есть только одна невидимая, неосязаемая сила — равнодействующая всех духовных сил известной совокупности людей и всего человечества, выражающаяся в общественном мнении³.

Итак, существующее зло держится на общественном мнении. В этом признании силы общественного мнения заключается не только отказ от крайнего индивидуализма, но еще большее. Это есть признание, что для изменения формы общежития необходима воспитательная работа, перевоспитание общества, и что ни индивидуальное деяние, ни индивидуальная проповедь не достаточны еще для того, чтобы общество покинуло старые пути и перешло на новые. Замечательно, что Толстой, обрушивающийся на современный строй за то, что он держится на гипнозе, возможность скорого перехода к новому строю выводит тоже из своего рода гипноза. «При известном... распространении истины... она усваивается... не внутренним способом, а сразу, почти невольно». «При известной степени распространения истины, люди, стоящие на низшей степени развития, принимают ее все сразу по одному доверию к тем, которые приняли ее внутренним способом и прилагают ее к жизни»⁴. В этом указании на способ принятия новой истины логически заключается теоретическое признание значения (отрицательного или положительного) всех тех воспитательных воздействий, которые государство оказывает на огромное большинство людей.

Толстой полагает, что формулировка нового, более правильного общественного мнения происходит путем индивидуального познания истины и личного деяния и другим путем происходить не может. Это положение или не доказано, или, вообще, не доказуемо. Толстой всюду предполагает, что действия, облеченные в форму права и закона, всегда опираются на насилие, но его же собственные рассуждения о силе общественного мнения говорят совершенно обратное. Законы и учреждения, по общему правилу, опираются на *общественное мнение*, т. е. на добровольное согласие и содействие огромного большинства общества. В этом факте или, точнее, в необходимости изменить

² Там же, стр. 94.

³ Там же, стр. 96.

⁴ Там же, стр. 97.

или перестроить общественное мнение заключается трудность всякого крупного социального или политического переворота.

Всякое общественное реформаторство необходимо предполагает перевоспитание общества. Мы согласны с Толстым, что такое перевоспитание может обнаружиться сразу, но *происходит* оно всегда постепенно и в глазах общественного реформатора оно не может не представляться делом трудным, требующим упорной работы. В этом-то и заключается общественное оправдание постепенных и частичных реформ. Совершенно по тем же основаниям, по которым неправ этический радикализм Толстого, неправ и социально-политический радикализм революционеров. В социализме нельзя просто убедить человечество, к социализму нельзя просто принудить его.

Позвольте теперь вернуться к Вашему письму и сказать несколько слов о Ваших моральных тирадах против «просвещенных» землевладельцев. Они резнули меня по душе, потому что, произнося их, Вы совершенно забываете ту проповедь терпимости не ко злу, а к творящим зло, которую мы все так высоко ценим у Толстого, и которая есть необходимая сторона его этического радикализма. Для Вас, стоящего на этой точке зрения, не должно было бы быть преступников; в Ваших глазах могут быть только заблуждающиеся, от которых нельзя «отворачиваться с презрением». И, кажется, в этом отношении даже я, политик *par excellence*, ближе Вас к Толстому. Я не могу быть так нетерпим к людям, как Вы, ибо думаю, что нельзя убеждать людей, выражая им презрение и клеймя их. Не могу я также говорить, что «стыдно быть фабрикантом и помещиком», ибо я не могу сказать, как сделать так, чтобы фабрикантов или помещиков сейчас не было. Я не могу этого сказать потому, что я знаю, что ни проповедью, ни насилием невозможно упразднить ни фабрикантов, ни помещиков.

Вы пишете:

Вы, открывая новый журнал, обошли полным молчанием важнейшую часть этой задачи и, по-видимому, вовсе не думаете касаться ее. Удивляться нечему: Вы следуете в этом отношении примеру всей нашей оппозиционной печати, которая вот уже полвека старается мобилизовать все нравственные силы русской интеллигенции исключительно против господствующей у нас политической власти⁵. Тенденция эта глубоко прискорбна, потому что она искажает

⁵ Как с этим утверждением вяжется другое, которое Вы делаете несколькими строками раньше: «обособление политики совершилось у нас недавно, почти на наших глазах; оно было совершенно чуждо не только борцам против крепостного права, но ещё и людям, “ходившим в народ”», — этого я понять не могу. Но Вы вообще вынуждены на каждом шагу противоречить себе. П. С [труве].

нравственную перспективу, ослепляя глаза ярким блеском политического вопроса и тем заставляя их не видеть всего остального зла нашей жизни, которое неизмеримо больше, нежели зло самодержавной власти. Люди любят опьянять себя, а политикой можно опьянить себя не хуже, чем вином и картами.

Я очень терпимый человек, но иногда мне трудно совладать с горечью, почти с негодованием, когда я читаю подобные строки. Во-первых, им обрадуются акробаты печатного слова и прислужники насилия, которые против либерализма козыряют социализмом, а против социализма — либерализмом, которые не верят ни в один аргумент, но пользуются всяким, лишь бы он был выгоден и кстати в данный момент спора. В Вашем рассуждении скрывается огромная фальшь, которую ленивые умы и усыпленные души всегда проглядывают, и которую поэтому с такой ловкостью пользуются софисты и апологеты насилия. Вы тоже со спокойной душой, из какой-то душевной простоты, принимаете эту фальшь за правду. Допустим, что все остальное зло нашей жизни «неизмеримо больше, чем зло самодержавной власти». Допустим, но против этого всего остального зла Толстой и Вы указываете лекарства, действие которых так же сомнительно, как действие гомеопатических крупинок на яд сифилиса или дифтерита. Болезнь (если к таким состояниям приложимо название болезни) такова, что только простодушно верующие люди или шарлатаны могут обещать от нее сильно и быстро действующие лекарства. Вы требуете от нас невозможного: Вы желаете, чтобы мы, из нравственных побуждений, либо простодушно поверили в чудодейственную силу проповеди, либо стали шарлатанами... Между тем, против зла «самодержавной власти» есть лекарства и очень простые. Вы сами понимаете — и большая заслуга Толстого в том, что он выдвинул эту сторону вопроса — что осуществление социальной справедливости не может быть достигнуто законодательным актом. Между тем, самодержавие может быть в известном смысле упразднено почерком пера одного лица. И это вовсе не мелочь, ибо уничтожение самодержавия — огромная и вопиющая нужда русской жизни. Ведь от того, что Вы или я откажемся от домашней прислуги, а князь Н. от поземельной собственности, социальная неправда не изменится ни на волос, от того же, что Николай II откажется за себя и за своих министров от самодержавия, изменится разом слишком много. Я не знаю, обходитесь ли Вы без домашней прислуги, но это меня и не интересует, хотя выяснение этого пункта и было бы не лишено известного значения *с той точки зрения, на которой стоите Вы*. Для меня это не важно, потому что, к сожалению, мне дело преобразования человеческих отношений представляется вовсе не столь простым, как, по-видимому, Вам. Наоборот, дело упразднения

самодержавия в моих глазах не только крайне важное, но и совершенно простое дело. Я не хочу этим сказать, чтобы это было легкое. Вовсе нет. Но я знаю, что осуществить его очень просто, для этого достаточно почерка пера, как его было достаточно для уничтожения крепостного права. Этот почерк пера будет, быть может, стоить потоков крови, но я не знаю никаких других средств предупредить их, как приложить все усилия к тому, чтобы перо как можно скорее пришло в действие, т. е. чтобы давление общественного мнения на власть было как можно сильнее, чтобы оно стало неотразимо.

Упрек в обособлении политики и нравственности, который Вы бросаете русскому обществу, борющемуся против правительства (и в том числе и мне в качестве редактора «Освобождения»), совершенно несправедлив. Руководящая русская оппозиционная литература никогда не была односторонне политической. Не является она таковой и в настоящий момент. «Освобождение» решительно отклоняет от себя упрек в том, что оно отделяет политический вопрос от нравственного. Если бы я — из дипломатии — и считал нужным стремиться к такому отделению, то я бы должен был совершать насилие над собой, ибо моя приверженность к политической свободе вытекает из всего моего морального и религиозного мирозерцания и им определяется.

Я перейду в нападение и скажу Вам, что не я, а Вы, противопоставляя политические стремления нравственным задачам, совершаете незаконное обособление политики и нравственности. Для Вас, по-видимому, вопрос о политической свободе есть только вопрос об организации власти, и Вы уже спрашиваете: *«выгодно ли нам отдавать власть земцу, который есть землевладелец, т. е. который пахнет землю не своими, а мужицкими руками? Следует ли делать собаку мясником, а кошку молочницей?»* Если бы в русской интеллигенции многие думали так, как Вы, то следовало бы сказать, что она почти ничему не научилась и почти ничего не забыла, а «Освобождению» предстояло бы ужасно много работы в ее передовых слоях. Я, конечно, недаром побывал в школе Маркса и хорошо знаю, что и при политической свободе власть слишком часто сопрягается с фактическим и прежде всего с экономическим могуществом. Но мы, сторонники и работники политического освобождения, желаем не только переместить власть в руки общества и его избранных, мы желаем ограничить *всякую* власть неотъемлемыми правами личности. Мы желаем упразднить всякое самодержавие, и самодержавие народа нас прельщает так же мало, как самодержавие царя. Вы же в упразднении самодержавия не видите, по-видимому, ничего кроме перемещения власти в другие руки. Таким образом, Вы впадаете в ту странную ошибку, которой некогда в значительной мере определялось равнодушие наших народников к политике и их враждебность

конституции. За эту ошибку русские народники-революционеры заплатили истории кровью Александра II и головами Желябова и Перовской, и наше поколение было бы безнадежно тупо в умственном и нравственном отношении, если бы эти кровавые уроки пропали для него.

Вы, по-видимому, не понимаете и того, что ни при какой другой организации власти нельзя знатным и богатым так эксплуатировать народные массы и так издеваться над ними, как под эгидой русского самодержавия. Это совершенно просто объясняется тем, что интересы богатых и знатных легко, почти автоматически, влияют на тесно связанную разными узами с высшими классами бюрократию, при самодержавии совершенно бесконтрольную и всемогущую.

России было суждено явить миру царство Чингисхана не только с телеграфами, прекрасно вооруженной армией и организованной — по последнему слову науки — полицией, но и с промышленными синдикатами. Только в России такие небольшие отдельные группы в несколько десятков тысяч людей, как наше дворянство, получают кредит, оплачиваемый государством, т. е. народными массами. Только в России можно было осуществить такое прямо скандальное учреждение, как субсидируемые государством дворянские кассы, в насмешку над здравым смыслом названные кассами взаимопомощи и оказывающие кредит для уплаты... процентов по ипотечным долгам. Наконец, где, кроме России, возможна была такая наглая расправа над крестьянами, наложение на них штрафной контрибуции и пр., и пр.?! По существу все, что проделывалось при Николае II в 1902 г. над полтавскими и харьковскими крестьянами, равносильно тому, что проделывалось над русскими же крестьянами при Павле I.

Делать такие вещи значит не только в пользу имущих обирать неимущих — это значит развращать имущих прямым подкупом.

Вы пишете, что при конституционной реформе капитал и особенно знание и его представители, т. е. интеллигенция, «с роковой неизбежностью возьмут перевес над нищим и, главное, невежественным народом».

Но кто держит народ в нищете и невежестве? Кто сечет и обирает его, кто из его пота и крови строит — для стратегических и завоевательных целей — железные дороги на сотни миллионов рублей? Кто всячески задерживает просвещение народа из страха пропаганды, т. е. из страха потери власти?

Самодержавие и его носитель, бюрократия.

Кто ставит вопрос об экономических реформах, о правах крестьянина, о справедливом распределении земли и налогов, кто требует просвещения невежественного народа и отдает свои силы трудной и неяркой работе в роли

учителей и врачей? Кто с полным забвением личной безопасности несет в народ новые идеи справедливости и свободы?

Интеллигенция, которую Вы так без всякого разбора и, простите, без всякого смысла поносите.

Это она настойчиво требует всеобщего обучения невежественного народа, доказывая его возможность и необходимость.

А кто всячески внушает мысль, что всеобщая грамотность есть сумасбродная иллюзия?

Правительствующая бюрократия, устами К. П. Победоносцева утверждающая:

настаивать на осуществлении чего-либо материально и нравственно невозможного значило бы искусство разрушать то, что требуется создавать органически, в применении к условиям и потребностям природы. А такова именно задача, которую ныне ставят перед собой и усиленно разрабатывают многие земства — задача осуществить идею всеобщего обучения во всех местностях России. Осуществление ее — возможное, по особливим условиям, разве в Ярославской губернии, — в применении ко всей России является идеальным мечтанием, лишённым реальной почвы и потому осужденным на гибель и на бесплодные усилия устроить невозможное⁶.

Вот лучший ответ на Ваши обвинения *земцев*. Не идеализируя вовсе земцев, мы можем и должны в тех из них, которые предаются осуждаемым г. Победоносцевым «мечтаниям» и работают для их осуществления, видеть наших союзников. Этого требуют одинаково и простая справедливость, и политический смысл.

Кроме того, вы забываете, что в России выросла и растет непрестанно демократическая интеллигенция, тысячью нитей связанная с народом. Это она, *в союзе с народными массами*, вырвет народ из подчинения самодержавию, т. е. из цепей нищеты и невежества.

Ваши обвинения, как беспредметные, прямо смешны. Хуже самодержавия ничего не может быть, и если самодержавие еще и держится на чем, так это на нищете и невежестве народа и на грубом своекорыстии представителей собственности и капитала, не желающих поступиться теми привилегиями, которые обеспечиваются им *самодержавием*.

⁶ Извлечение из отзыва обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода от 30 октября 1898 года за № 216. (Приложение 2-е к представлению Министра Внутренних Дел в Государственный Совет от 22 августа 1901 г. за № 166. Стр. 20).

Грубое насилие над низшими классами и беззастенчивый подкуп высших — вот альфа и омега нашей государственной системы, которая вовсе *не сдерживает* всяческой эксплуатации, как в каком-то ослеплении думаете Вы, а, наоборот, усиливает ее в огромной степени. Конечно, не все зло в самодержавии, но, как некогда крепостное право, самодержавие и все его следствия — самое осязательное и отвратительное зло нашей жизни. Пусть это капля в море зла, но это — «специфическая» и самая ядовитая капля, с которой нестерпимо жить⁷. Не мы, а вы искажаете естественную и нравственную перспективу, когда рекомендуете нам забыть о существовании такой капли.

Вы можете верить в то, что индивидуальное отречение от собственности, от услуг домашней прислуги и т.п. поступки суть действительное и лучшее средство борьбы с социальным злом нашего времени. Я — повторяю еще раз — не верю в это и думаю, что эксплуатация человека человеком может быть упразднена только путем сложной системы лишь постепенно осуществимых социальных реформ, охватывающих все стороны человеческого существования. «Правда жизни» не может быть добыта никаким заклинанием — человечество должно создать ее упорной работой над собой. Слава Толстому и другим людям, будящим совесть, но мы не можем считать их чудотворцами и не верим ни в единственные, ни в исключительные пути для человечества. И потому мы не можем заняться такой нравственной проповедью, к которой призываете Вы: мы очень мало верим в ее жизненный успех и потому иначе, чем Вы, оцениваем ее практическое влияние на жизнь. Мы знаем, что нравственное сознание человечества развивается постепенно и что признание и провозглашение политической свободы есть необходимый и огромной важности шаг на этом пути.

И я даже думаю, что *принципиально* и в *нравственном* отношении это самый важный шаг.

В признании политической свободы, основной идеей которой исторически и логически является идея прав человека, заключается признание нравственной личности человека как самозаконной силы. Свобода лица — это идея политическая, моральная, метафизическая, религиозная или, вернее, в обратном порядке — религиозная, метафизическая, моральная, политическая. Везде она отрицает власть или авторитет как таковой, противопоставляемый человеческой личности как нечто обязательное, помимо ее свободного признания. Для нее нет Бога-Власти и Бога-Хозяина, для нее нет Закона-Власти, Закона-Повелителя, для нее нет Государства-Власти, Государства-Господина. Бога свободный

⁷ Помните, как Щедрин охарактеризовал в «Похоронах» крепостное право.

человек себе отыскивает, он ему не покоряется, он его любит. Нравственный закон свободный человек сам себе творит и ему свободно следует. Государство свободный человек сам себе строит и им живет, не поступаясь собой.

Политическая свобода есть самое осязательное и непререкаемое обнаружение идеи свободной личности. Вне и без политической свободы нам нельзя «жить по совести» иначе, как в непрерывной и непримиримой борьбе с государством-господином. И относительно этой борьбы не может быть никаких сомнений и колебаний у того, кто принял в свою душу и осознал идею свободы. Не случайно, не потому, чтобы люди были глупы или подлы, идея социализма является более спорной для современного человечества, чем идея свободы. Это объясняется тем, что правда идеи социализма, в которую я тоже верю, не открылась людям еще с такою силою и ясностью, как правда идеи свободы. Если я хочу «спастись сам», то мне, конечно, все равно, что делается в душе других людей, но, если я хочу улучшить и подвинуть вперед общую жизнь, я буду говорить то, что может быть услышано и осуществлено. Поступать иначе значило бы на место долга и дела ставить произвол и самоуслаждение. Человек может, пожалуй, мыслить и писать исключительно для себя, но призывать к действиям можно только других, для других и ради других.

Сказав, что идея социализма является для современного человечества более спорной, чем идея свободы, я выразился грубо и неточно. Первая идея заключается во второй, как её необходимое следствие. Но жизненное раскрытие этого необходимого следствия, его практическое оправдание, без которого теоретическое усвоение останется бесплодным, бессильным и, в сущности, недействительным, медленно и постепенно совершается в процессе общественного развития. Известное определение социализма: упразднение частной собственности на орудия и средства производства, или обобществление производства — включает в себе вовсе не идею социализма, которая тождественна с идеей всестороннего освобождения личности, а дает лишь техническую, и потому вполне условную (и для меня совсем не бесспорную) формулу средств осуществления социалистической идеи. Для социализма, как идеи освобождения личности, безразлично, каким путем будет осуществлена эта цель. Социализм есть идея этическая, и социально-экономические формулы социализма имеют по отношению к этой идее лишь служебное значение. Индивидуалистический освободительный смысл социализма затемняется и извращается, когда эти формулы из служебной и условной роли средств возводятся в цель и мерило и провозглашаются высшей ценностью.

Эти формулы не только лишены принципиальной ценности, но и крупного практического значения. Последнее принадлежит политическим и соци-

альным завоеваниям демократии, освобождающим личность от гнета насилия и нужды и составляющим жизненное раскрытие в учреждениях и нравах идеи либерализма = социализму. Человечество идет медленным, но верным шагом от *освобождения* к *освобождению*, по прекрасному выражению Герцена, и в этом ходе осуществляется единая и нераздельная идея свободы. Принципиально она заключена вся в тех требованиях, которые принято называть политической свободой и к которым люди, мыслящие подобно Вам, относятся с непростительным теоретическим и практическим пренебрежением. И в заключение позвольте Вам напомнить знаменательный и полный глубокого драматизма момент в истории русской культуры. Прощаясь навсегда с родиной, чем мотивировал Герцен в книге «С того берега» свой так нелегко давшийся ему «исход»? Запад глубоко разочаровал его: в его глазах «буржуазная» культура тогда неудержимо клонилась к упадку и вырождению, социализм же нес с собой только разрушение культуры и, быть может, новое рабство. Отчаявшись в судьбах западной культуры, Герцен все-таки остался на Западе. Почему и ради чего? В чем не отчаялся, в чем не усомнился Герцен? Глубокий и вечный смысл имеет признание великого русского изгнанника: «Дорого мне стоило решиться... вы знаете меня... и поверите. Я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и решился, не как негодующий юноша, а как человек обдумавший, что делает, сколько теряет... Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, принес все на жертву:

*человеческому достоинству,
свободной речи.*

“Свобода лица — величайшее дело” на ней *и только на ней* может возрасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее как в ближних, так и в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь мое право, мой долг».

Да, Герцен был прав навсегда и безусловно: «свобода лица — величайшее дело».

В этих словах — *начало и конец нашей религиозной и политической веры. В этом мы не сомневались и не усомнимся. Этой верой мы живем и действуем.*

П. С[труве].

© Колеров М. А.,
Информационное агентство REGNUM,
републикация, 2021

P. S[TRUVE]. NOT IN THE QUEUE.

N. N. [M. O. GERSHENZON]. A LETTER FROM THE SHORES OF LAKE GENEVA
AND ANSWER TO IT FROM THE EDITOR [P. B. STRUVE]



For citation: [Gershenzon, M.O., Struve, P.B.], 2021. ‘P. S[truve]. Not in the Queue. N. N. [M.O. Gershenzon]. A Letter from the Shores of Lake Geneva and the Answer to it from the Editor [P.B. Struve]’, republished by M.A. Kolerov, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 4(2), pp. 182–202. (In Russ.)



DOI: 10.17323/2658-5413-2021-4-2-182-202

© Kolerov, M. A.,
The REGNUM News Agency,
Republication, 2021